

Дружеская переписка в зеркале эпохи

В статье рассматривается переписка популярного писателя и журналиста первой половины XIX в. Ф. В. Булгарина с известным государственным деятелем своего времени А. Я. Стороженко и членами его семьи. Предложенный анализ дружеской переписки в историко-культурном контексте первой половины XIX столетия позволяет по-новому увидеть некоторые исторические и литературные реалии и осмыслить жизнетворческие стратегии представителей конкретной исторической эпохи как «сценарии неуспеха».

Ключевые слова: Ф. В. Булгарин; А. Я. Стороженко; В. А. Стороженко; эпистолярный; Царство Польское; польское восстание 1830–1831 гг.

Natalia Akimova

Friendly Correspondence in the Mirror of the Epoch

The article examines the correspondence of the popular writer and journalist of the first half of the 19th century F. Bulgarin with the famous statesman of his time A. Storozhenko and members of his family. The proposed analysis of friendly correspondence in the historical and cultural context of the first half of the 19th century allows us to see some historical and literary realities in a new way and to comprehend the life-creating strategies of representatives of a particular historical epoch as «failure scenarios».

Keywords: F. Bulgarin; A. Storozhenko; V. Storozhenko; epistolary; Kingdom of Poland; Polish uprising of 1830–1831

Изданный в начале прошлого века многотомный архив семьи Стороженко [13] – известный гуманитариям, в том числе

историкам литературы, источник: в исследованиях биографии Ф. В. Булгарина (1789–1859) появлялись цитаты из его переписки с членами семьи Стороженко. Архив включает 23 письма Булгарина (17 к А. Я. Стороженко и 6 к его сыну Владимиру) и 7 писем А. Я. Стороженко к Булгарину, написанные с 1829 по 1849 г. В сохранившемся наследии Булгарина этому эпистолярно принадлежит существенное место – по достаточно внушительному объему, продолжительности переписки и сугубо дружескому характеру. Однако предметом научной рефлексии эта переписка, не только проясняющая некоторые биографические обстоятельства участников, но и дающая интересный материал для осмысления эпохи, которой она принадлежит, до сего времени не стала. Предлагаемая статья – попытка восполнить данную лакуну.

1

Андрей Яковлевич Стороженко (1790–1858) – потомок старинного малороссийского дворянского рода; документы, запечатлевшие историческое бытование этого рода, опубликованы в упомянутом многотомном издании начала XX в. С Булгариным его связывала многолетняя дружба. В феврале 1834 г. Булгарин писал ему: «Благо ты для меня тот же Стороженко, что был за 28 лет пред сим» [13, т. III, с. 20], но и в августе 1845 г. Стороженко подтверждал верность прежним отношениям: «Почти сорок лет мы не теряли друг друга из виду; по крайней мере, моя дружба к тебе была всегда одинакова» [13, т. III, с. 38]. Доверяя этим свидетельствам, можно утверждать, что познакомились Булгарин и Стороженко около 1806 г., в октябре этого года они были выпущены из кадетских корпусов: Булгарин 11 октября из 1-го кадетского корпуса корнетом в Уланский его императорского высочества цесаревича Константина Павловича полк, а Стороженко 18 октября из 2-го кадетского корпуса подпоручиком в 11-ю артиллерийскую бригаду [13, т. I, с. 172]. Таким образом, соучениками или сослуживцами (как иногда полагают исследователи, введенные в заблуждение Булгариным, назвавшим себя в письме

к Владимиру Стороженко «искренним другом и совоспитанником» его отца [13, т. IV, с. 257]) они не были, хотя и принадлежали к одному кругу столичной военной молодежи, разделяли ее привычки и увлечения, в том числе литературные.

Эпоха наполеоновских войн определила их военную карьеру, да и, возможно, весь дальнейший жизненный путь. Во время Отечественной войны 1812 г. Стороженко – адъютант начальника артиллерии 2-й западной армии, свой первый орден, Св. Анны 4-й степени, он получил за отличие в сражении под Смоленском, за Бородино награжден золотой шпагой с надписью «за храбрость», за сражение при Красном – орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом; затем участвовал в заграничном походе. Военную службу он закончил подполковником, выйдя за ранами в отставку в 1817 г. Офицерская карьера Булгарина, как известно, сложилась иначе: ее, казалось бы, весьма успешное начало (полученный в 19 лет орден Св. Анны 3-й степени за сражение с французами под Фридландом, участие в покорении Финляндии в Шведскую кампанию 1808–1809 гг.) было прервано внезапной отставкой из-за какой-то неясной истории, после чего Булгарин вступил в Польский легион наполеоновской армии и воевал в Испании, России (в составе 8-го шеволежерского полка полковника Т. Любеньского, входившего в 6-ю бригаду легкой кавалерии Ж.-Б.-Ж. Корбино 2-го армейского корпуса маршала Н.-Ш. Удино) и Пруссии, где в 1814 г. попал в плен. Во французской службе он дослужился до чина капитана и был награжден орденом Почетного легиона.

Служба в армиях противников, как это ни парадоксально, не разрушила дружбы Булгарина и Стороженко. Возможно, объяснение следует искать в довольно терпимом отношении русского общества к полякам, уроженцам присоединенных территорий, воевавшим на стороне Наполеона за восстановление государственности своей родины, – после войны они все были амнистированы. По всей видимости, между Стороженко и Булгариным уже в эти военные годы существовала переписка, о чем свидетельствует сохранившееся в архиве большое стихотворное

послание Стороженко «Письмо к Ф. В. Булгарину», открывающееся строками:

Вы просите меня стихами к вам писать.
Ваш вызов дружеский охотно принимаю;
Хотя давным-давно бумаги не мараю
Я виршами, но к ним не потухает страсть.

[13, т. I, с. 229–230]

Под посланием, описывающим военные будни, стоит: «Гамбург, 2 мая 1814 г.». Известно, что Булгарин в этом году был взят в плен и находился в Пруссии [7, с. 676]. Таковы итоги военного периода в биографии бывших петербургских кадетов.

Тем неожиданнее выглядит разительная перемена в статусе участников сохранившейся дружеской переписки. Ее начало (1829 г.) приходится на время, когда оба давно завершили военную карьеру: Стороженко занимал довольно скромную должность помощника начальника штаба резервных войск в Елисаветграде (ныне г. Кропивницкий, Украина), а Булгарин уже стал известным столичным журналистом и писателем, негласным консультантом III отделения, в котором ему покровительствовал М. Я. фон Фок (родственник Андрея Яковлевича по его первой жене). В письме к старому товарищу от 6 апреля 1829 г. Стороженко пишет, что в Малороссии имя Булгарина, «осененное литературною славою, также произносится с почтительным удовольствием», и просит его через М. Я. фон Фока ходатайствовать о своем назначении, которое позволило бы «еще некоторое время пожить в Петербурге, дабы не умереть от скуки под старость» [13, т. III, с. 16].

Однако основной массив писем приходится на период, когда внешние обстоятельства вновь изменили общественное положение старых друзей. К началу 1830-х гг. в результате полемики с пушкинским кругом репутации Булгарина был нанесен серьезный урон, отпала необходимость в нем как консультанте III отделения, поскольку его связь с жандармским ведомством стала известной в широких литературных кругах, кроме того события польского восстания

усилили недоверие к полякам в обществе – любые опрометчивые поступки Булгарина могли трактоваться как неуместные по отношению к этой государственной структуре. В августе 1830 г. умер М. Я. фон Фок, и активные связи Булгарина с III отделением оборвались. Он подал в отставку и несколько лет, с марта 1831 по 1837 г., жил в своем лифляндском имении Карлово близ Дерпта, присылая материалы в газету и лишь наездами бывая в Петербурге. В сентябре 1833 г. он пишет Андрею Яковлевичу: «О жизни моей сказать нечего. Живу, как живет осина и береза, с той разницей, что они молчат и не чувствуют, а я чувствую, глотаю желчь и молчу. Пишу вздор, читаю умное, прогуливаюсь в пустыне, т. е. между немцами, разговаривающими от рождения до смерти о процентах и винокурении, и от скуки делаю детей!» [13, т. III, с. 18]. В эти годы он становится довольно успешным лифляндским помещиком, но для сохранения статуса успешного литератора, популярности своих периодических изданий ему приходится прилагать значительные усилия.

Напротив, Стороженко после подавления польского восстания 1830–1831 гг. по рекомендации своего начальника графа Витта занял высокие административные должности в Царстве Польском: с 1832 г. он – генерал-полицмейстер действующей армии (с переводом в корпус жандармов); председатель следственной комиссии, учрежденной при наместнике Царства Польского (с 1833 г.); в дополнение к этому в 1833–1848 гг. – обер-полицмейстер Варшавы; тайный советник и сенатор (с 1842 г.); главный директор комиссии внутренних и духовных дел Царства Польского (с 1845 г.). Любопытно, что само неожиданное известие о высоком назначении в жандармское ведомство было получено им во время дружеского обеда с Булгариным и Н. И. Гречем [13, т. I, с. 422].

Вместе с тем финальный этап служебного поприща Стороженко вновь подтвердил отчетливо наметившуюся биографическую закономерность, которую Булгарин, будучи беллетристом, представлял не только в романах, но и в своих воспоминаниях как вращение колеса фортуны. В июне 1850 г. Стороженко внезапно вышел в отставку вследствие конфликта с наместником Царства Польского И. Ф. Паскевичем. «Не думал я кончить так 44-летнюю

службу», – сетовал он в письме к сыну, жалуясь на интриги, «желание князя дать другому место» [13, т. II, с. 278]; почти три года он не мог получить положенной пенсии. Так бесславно закончилась служебная карьера отважного военного и ревностного чиновника-патриота, напутствовавшего своего сына, которому предстояло наследовать традиции славного малороссийского рода: «Наши предки были верны своему долгу; были людьми заслуженными в краю, где не было магнатов; впоследствии всегда были верны царям православному и завещали нам чувствования истинно монархические; но ни один из Стороженок не был богатым» [13, т. II, с. 36]. Не менее пессимистичен в последний период своей деятельности и Булгарин, казалось бы, вполне успешно завершивший свой весьма причудливый служебный путь: в июне 1857 г. высочайшим приказом по гражданскому ведомству он был уволен по прошению в отставку, с награждением чином действительного статского советника (что соответствовало воинскому чину генерал-майора). К этому времени он окончательно потерял своего читателя и был забыт, его гражданская активность более не была востребована и сводилась лишь к периодическим жалобам в высшие инстанции.

2

Сохранившаяся переписка дает любопытный материал для осмысления сложившихся жизненных «сценариев неуспеха», принадлежащих некогда востребованным своим временем и весьма известным деятелям.

В попытке выделить центральные темы дружеской переписки Стороженко и Булгарина вполне закономерно в первую очередь назвать тему *семьи*, поскольку участники находятся в расцвете сил, в самой активной фазе своего социального бытия – им немногим за сорок. Булгарин за годы переписки (довольно поздно, на седьмом году брака) стал отцом семейства: у него родились четыре сына и две дочери. Родительские радости, тревоги и горести (в 1844 г. умерла в младенчестве вторая дочь – его последний ребенок) – неременный, хотя и лаконичный фон булгаринских писем, позволяющий отвергнуть нелепые слухи, которыми полна биография Булгарина и по

сей день, вроде того, что его первенец, родившийся в 1832 г., был сыном А. С. Грибоедова, погибшего в 1829-м. Андрей Яковлевич, овдовевший в 1821 г., в 1830-м женился на Юлии Ивановне, урожденной Бобровской-Миркаловой (ок. 1810–?). Дети его от первого брака, дочь Елизавета (1818–1897) и сын Владимир (1820–1895) воспитывались в учебных заведениях Петербурга, и Булгарин общал отцу о своих встречах с ними. В выборе жизненного призвания Владимира, который по окончании Пажеского корпуса (1838) служил поручиком в лейб-гвардии Семеновском полку, он сыграл не последнюю роль, порекомендовав для получения гражданского образования Дерптский университет.

Значительная часть переписки связана с пребыванием в Дерпте Владимира Стороженко, который учился в 1843–1846 гг. в Дерптском университете на юридическом факультете. Он не стал большим ученым, но сделал неплохую карьеру: в будущем камер-юнкер (1853), коллежский советник (1856), общественный деятель, отец историка и литературоведа Андрея Владимировича Стороженко. Переехав в Дерпт, Владимир писал отцу 27 июня 1843 г.: «24-го был день рождения Булгарина и он пригласил нескольких знакомых, в том числе и меня, к себе в деревню в верстах 12-ти от Дерпта. Мы провели время очень приятно, потому что Булгарин веселый и радушный хозяин. Вообще, чем более с ним знакомишься, тем более находишь в нем хороших сторон, не говоря о его уме; он человек добрый, готовый к услугам, постоянный в дружбе и благородный. Ровности характера трудно требовать от людей, загнанных обстоятельствами» [13, т. II, с. 113]. В архиве сохранилось шесть писем Булгарина к Владимиру Стороженко [13, т. IV, с. 257–264], насколько известно, не вызвавших интереса исследователей. Вместе с тем письмо Булгарина к Владимиру Андреевичу от 19 марта 1846 г. позволяет атрибутировать одну из анонимно опубликованных в «Северной пчеле» повестей. В упомянутом письме Булгарин сообщает: «Я напечатал (14 марта) отрывок из Вашего письма о погоде в Дерпте» [13, т. IV, с. 263]. Ни в одном из просмотренных номеров «Северной пчелы» с 1 января по 19 марта 1846 г. отрывка с описанием погоды в Дерпте нет, однако в указанном

номере от 14 марта началась публикация (без имени автора) повести «Страдания матери. Быль», которая открывалась описанием холодного дня: «В последних числах января 1841 года было очень холодно. Уже давно улицы Антверпена облеклись в снежный покров ослепительной белизны; но снег не падал мягкими хлопьями, не резвился в воздухе, мириадами легких перьев; напротив, с силою грома колотил он в крыши и окна герметически закупоренных домов, и когда жители выходили на минуту на крыльцо, немилосердный северный ветер тотчас возвращал большую часть из них к плававшему камину» [4]. Можно предположить, что это описание и было позаимствовано из письма Владимира Стороженко, о чем сообщил ему Булгарин. В таком случае, эту анонимную повесть следует атрибутировать Булгарину.

Документы архива свидетельствуют о близости литературно-эстетических и общественно-политических взглядов Булгарина и Стороженко. *Литература* (в широком смысле этого слова, включая журналистику, научно-популярные, исторические сочинения и проч.) – одна из постоянных тем переписки, что, собственно, неудивительно, поскольку один из ее участников – профессиональный литератор. «Книги для тебя я соберу, переплету и буду ждать, куда велишь выслать. С будущей почтою вышлю тебе новый мой роман „Мазепа“ (1833–1834. Ч. 1–2. – *Н. А.*), который прошу прочесть, невзирая на твои многочисленные занятия» [13, т. III, с. 20]; «Прочти предисловие к „Чухину“ (Памятные записки титулярного советника Чухина, или Простая история обыкновенной жизни. 1835. – *Н. А.*): увидишь, что есть люди, которые, при сальной свече, записывали дела и речи современников» [13, т. III, с. 23] – пишет Булгарин о своих романах.

Справедливости ради следует сказать, что интерес к литературе свойственен и другим участникам переписки, входящей в обширный эпистолярный архив Стороженко, то есть внимание к теме носит не столько профессиональный характер, сколько является приметой времени, входя в круг интересов образованного русского (столичного и провинциального) дворянства. Так, Андрей Яковлевич, описывая в автобиографических записках свое общение с кругом

петербургских литераторов в начале 1830-х гг., признается, что мечтал посвятить себя литературе: «Я думал писать. История полуценной России наполняла воображение, широкий Днепр манил на роскошные берега свои. Любимая сердцу родина, ее добрые жители, в числе коих я имею так много приятелей искренних, вещей дух старины нашей, описанный Нестором, и самое украинское небо, казалось, звали на покой труженика, располагающего окружиться давно прошедшим и забыть обо всем минувшем в тревожной дотоле жизни его» [13, т. I, с. 421–422]. Он не только следил за литературными новинками, но и писал сам: стихи, мемуарные записки, критические статьи, работы по истории и этнографии, публицистические сочинения. Как и Булгарин, он вырос на прозе Карамзина, традициях просветительской литературы, поэтому в своем отзыве на гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки», напечатанном под псевдонимом Андрей Царынный [17], он не только отметил незнание Гоголем малороссийских реалий, указав неточности, но затем не принял, подобно Булгарину, в целом зрелого творчества Гоголя. Особую неприязнь вызывала у Стороженко школа, получившая с легкой руки Булгарина название «натуральной». В 1857 г. Андрей Яковлевич возражал сыну Владимиру на упреки в ретроградности: «Держусь я „Северной пчелы“ потому, что в фельетоне ее бранят новую грязную школу и проповедующих свободную торговлю. Если бы дряхлеющий друг мой Ф. В. (Булгарин – Н. А.) наплевал хотя одному из первой, выписал бы портрет его во весь рост. Проникает эта школа и в „Русский вестник“. Недавно прочитал я в нем „Губернские очерки“. Что за дрянь!» [13, т. II, с. 386–387].

Архив, включающий обширную переписку семьи Стороженко с родственниками и знакомыми, содержит немало суждений о личности и литературной деятельности Булгарина, порой противоположного свойства, что дает материал для его объективной оценки. Так, Павел Данилович Стороженко, человек преклонного возраста, с удовольствием цитирует Булгарина как источник житейской мудрости: «Легко перечесть 70, 80 и сколько сможешь лет; но как их прожить? А переживши, невольно заговоришь языком милого Булгарина: „Как много для тела; как мало для души!“» [13, т. I,

с. 348–349]. Напротив, из письма Н. И. Ушакова¹ от 4 ноября 1840 г. узнаем о его согласии с мнением о Булгарине младшего Стороженко: «Эти люди исписались и, кажется, отживают последний ум. <...> не понимают, что строгие их судьи не те, которым они должны отвечать на печатные критики; но те, которые, прочитав их журналы, – жалеют о потерянном времени и удивляются их скучному пустословию» [13, т. III, с. 195–196]. Однако, начав работать над книгой о Кавказе, Ушаков через Владимира Стороженко не раз обращается за помощью к Булгарину, пользуется его библиотекой, советами, его суждения о Булгарине становятся все более уважительными, и наконец, он пишет: «Булгарину я очень благодарен и обращусь сам к нему с просьбою прислать то, что он для меня приготовил» [13, т. III, с. 232–234]. Да и сам Владимир Стороженко, сначала в Петербурге чуждавшийся Булгарина, который разочаровал его полным несоответствием традиционному представлению о маститом писателе [см.: 13, т. II, с. 67–68], со временем оценил булгаринское постоянство в дружбе и благородство, оправдываясь следующим образом: «Я убежден, что он выше своей репутации, но, не зная человека, не естественно ли держаться общего мнения?» [13, т. II, с. 137].

3

Литература в переписке предстает своеобразным медиатором двух сюжетов, восходящих к двум составляющим некоего единого концепта *Дом* – семейно-бытовой и национально-государственной, где вторая выступает гарантом первой, позволяя обрести укорененность, культурную идентичность. Будирующим моментом, безусловно, стали события польского восстания 1830–1831 гг., существенно повлиявшие на жизнь участников переписки. Для обоих это была сложная и болезненная тема, тем не менее самая устойчивая по своей частотности. Сложившаяся ситуация представлялась значительно сложнее и острее той, что была в эпоху наполеоновских войн, поэтому Булгарин не в шутку опасался прекращения дружеского общения со стороны Стороженко. 21 марта 1836 г. он признавался Андрею Яковлевичу: «Я уже думал, что

ты погиб для моей дружбы, и уже воздвигнул тебе в моем сердце надгробный памятник» [13, т. III, с. 21].

Для Стороженко отношение к польскому вопросу в эти годы было вполне определенным – обретение собственного родового дома возможно только в составе империи, под скипетром православного царя, о чем он и напоминал сыну в цитирувавшемся выше письме, причем не только в силу своих новых должностей: консервативная позиция была заявлена Стороженко довольно рано. Еще в 1822 г., в период либеральных увлечений его друзей он писал:

Равенство, братство и свобода –
Одни лишь пышные слова;
Но что же нужно для народа?
Закон, порядок и глава,
Держащая весы Фемиды,
Патриархальность, простота,
Любовь к отечеству, а виды
На вольность мнимую – мечта!

[13, т. I, с. 265]

Польское восстание для него – покушение на устойчивость единого православного мира, гарантом которого является Российская империя.

Более остро звучит эта тема для Булгарина, что и отразили его письма к Стороженко. В отличие от Стороженко общественно-политические взгляды Булгарина претерпели существенную эволюцию: от симпатий идеям национальной независимости Польши, за которые он, собственно, и сражался под знаменами Наполеона (неслучайно А. Мицкевич никогда не отзывался о нем отрицательно), либеральных идей декабристского круга (не забудем, что его дружеский круг – это братья Бестужевы и К. Ф. Рылеев, А. О. Корнилович и Ф. Н. Глинка) к трезвому скептическому рационализму А. С. Грибоедова, который на всю жизнь остался для Булгарина высочайшим интеллектуальным и нравственным авторитетом, и затем, после декабрьской катастрофы 1825 г.,

к приверженности официальной имперской идеологии в николаевскую эпоху. Несмотря на долгие годы жизни в Петербурге, проблема его непростой многосоставной идентичности² никогда не исчезала: о своем польском происхождении Булгарин никогда не забывал (да это было и невозможно, хотя бы потому, что его многочисленные оппоненты постоянно напоминали публике об этом). Его письма пестрят польскими выражениями: «*padam do nóg*» (буквально: припадаю к вашим ногам. – *H. A.*); к жене Стороженко он обращается не иначе как с польскими формулами вежливости: «По старопольскому обычаю становлюсь на колени перед Юлией Ивановной и целую прах ножек...»; «Жена моя свидетельствует свое почтение Юлии Ивановне, а я *całuję nóżki i ręczki po staropolsku* (целую ножки и ручки на старопольский манер. – *H. A.*)»; о несчастьи в семье он пишет: «Новорожденный тоже чуть не умер. Но – *lepszy Pan Bóg, jak Pan Rymsza*³, и теперь, слава богу, все в порядке» [13, т. III, с. 18, 21, 49, 23]. Все происходившее в Царстве Польском его живо интересовало. Этот контекст задавал отношение Булгарина к польскому вопросу в 1830-е гг. Булгарин полагал, что Польше не удастся восстановить свою государственность, ее будущее виделось ему в составе Российской империи при значительной национально-культурной автономии. Восстание не просто затормозило, но похоронило подобные надежды, отсюда его негодование по отношению к восставшим: «Тьфу ты пропасть! неужели не пора образумиться! У меня сердце разрывается на части и гортань заливается желчью, когда слышу о поступках (бессмысленных и злодейских) людей, осмеливающихся называться либералами и патриотами! – Изверги зарезали мать свою!» [13, т. III, с. 18–19]; «Но Польша существует теперь только в полонезах и мазурках; следовательно, об этом и толковать нечего. Наделали пакостей и глупостей, пусть же и отвечают, и поделом. Доказано, что никогда им не было лучше, как перед гадким их бунтом, а им захотелось *похвасть*, по примеру бешеных французов. Ах скоты! Растерзал бы своими руками этих проклятых карбонаров и пропагандистов. Истые гиены и бешеные волки! Надобно убивать, где встретишь!» [13, т. III, с. 20–21].

Однако действия русского правительства в Польше, русификаторская политика вызывает его резкую критику, его возмущает, что «русские книги в Польшу должны проходить чрез таможи и с большею трудностью, нежели иностранные входят в Россию. А велят учиться по-русски!»; что Польша оторвана культурно и политически от остальной России: «Пекин гораздо ближе к нам, нежели Варшава. Не знаю, нужно ли это и хорошо ли»; «Весьма жаль, что Варшава отделена от нас Китайскою стеною. Не знаем мы здесь в точности ни умственного движения, ни материальной жизни этого уголка великого Царства Русского. Не известия, а только слухи доходят к нам из Польши, как из Китая, и тогда только что-нибудь прогремит, когда поляки взбесятся. Это безмолвное разделение, по моему мнению, весьма мешает слиянию племен воедино» [13, т. III, с. 29, 31, 50]. «Мне все кажется, – пишет Булгарин, обращаясь к Стороженко, – что немногие между вами, т. е. правителями Польши, знают *в точности* характер и дух польского народа. По мне, так из него ласкою можно сделать что угодно, а детской побрякушкой повесть на край света. <...> Если б польское юношество воспитывалось в том духе, что Россия есть благо для них, что братство с русскими для них честь, слава и *материальная выгода*, что одно средство загладить прошлое есть – быть полезными России службою или талантом, – то другая генерация в Польше была бы иная. Но в этом случае надобно убеждать ум и сердце, а *не приказывать*. Оттого ваши поляки не будут русскими, что им велят учиться писать по-русски, когда и в России нет даже посредственных учителей русского языка. Надобно, чтоб ваши поляки думали по-русски, и для этого нужно *воспитание*. <...> А велеть забыть польский язык, польскую историю и литературу, воля ваша, невозможно. Царство Польское высунулось носом в Европу. В Пруссии, Саксонии, Австрии – везде печатаются польские книги. Что прибыли, что вы запретите в Варшаве печатать и писать по-польски? Книги перенесут из-за границы на руках. По мне, пусть бы печатали по-польски в Варшаве, но только в таком духе, чтоб изменить зловерное направление умов нашего несчастного века, отравленного Францией» [13, т. III, с. 27–28].

Точно так же отзовется он позже и о действиях властей в Лифляндии в письме к Владимиру Стороженко 12 февраля 1846 г.: «А мне ужасно жаль теперь лифляндцев, и я сильно симпатизирую с ними и, по совести, не могу одобрить ни насильственного навязывания русского языка, ни привлечения обманом к православию. По мне: тише едешь, дальше будешь. Гром, шум, парадное усердие, а на дне ленты и аренды! Вот из чего бьются усердные люди! Хотели творить православных, а православный не пользуется никакими правами и хуже пария в Лифляндии; хотят, чтоб все знали по-русски, а на русском языке не пишут даже афишек! Противоположности и крайности! Тяжело будут отвечать перед Богом эти усердные *soi-disant* (фр. ‘так называемые’. – Н. А.) патриоты русские за то, что взбудоражили Лифляндию» [13, т. IV, с. 262].

Своего друга Андрея Яковлевича Булгарин призывает душить крамолу, не забывая при этом внушить Стороженко свой образ мыслей о необходимости действовать иными методами – обдуманно, осторожно и доброжелательно по отношению к польскому населению. В ход идут различные риторические приемы. Этой цели служит ироническое обыгрывание польского национального характера: «Все вы говорите, что знаете Польшу и поляков, а мне кажется, что я знаю более вас всех. Я, как говорится, посвящен в таинство характера польского, и вот тебе, в одной черте, вся характеристика народа. Во время прусского правительства запрещено было ездить в Варшаве в шесть лошадей. За каждую лошадь сверх пары должно было платить червонец штрафа. Польские паны нарочно ездили в шесть лошадей, чтобы иметь удовольствие посвоевольничать, и охотно платили штраф! Смешно, а правда. Делай с поляками, что хочешь, осыпай их золотом, но, если им нельзя *поврать* и посвоевольничать, – они все будут почитать себя несчастными. Что ж делать, когда Бог создал такое племя!» [13, т. III, с. 20]. Такова же, как представляется, и попытка апеллировать к слухам в столице, якобы осуждающим слишком жесткую деятельность Андрея Яковлевича в Варшаве: «Клевета рассеяла на твой счет различные слухи, и в Петербурге стараются представить тебя герцогом Альбою⁴. Разумеется, что я не верил рассказам» [13,

т. III, с. 21]. Однако в 1848 г. в письме к Л. В. Дубельту Булгарин не удержался от осуждения деятельности своего друга, обер-полицмейстера Варшавы, возглавлявшего в Царстве Польском комиссию по расследованию заговоров и тайных обществ: «Слышал я любопытный рассказ *русского человека* о провозе арестованных поляков через Москву, слышал о подвигах Писарева в Киеве и Стороженки в Варшаве, но об этом почитаю излишним говорить, хотя готов, не заикаясь, сказать пред Священным Престолом, что деликатностью и правосудием более добра бы сделали в польских провинциях» [5, с. 569].

Защита польских интересов – языка, культуры, открытости для других регионов России, методы смягчения и привлечения поляков на правительственную сторону – все время в поле зрения булгаринских писем: он то убеждает Стороженко: «Польский народ от природы гостеприимен и общежителен. Просвещенных людей там довольно» [13, т. III, с. 19]; то просит для своего нового издания статистических сведений о Царстве Польском: «Университет варшавский уничтожен. Какое у вас заведение для окончательного курса наук и как разделено народное просвещение, есть ли гимназии или что-нибудь подобное? О Польше мы не имеем понятия! Что было до бунта, мне все известно, а теперь ничто не публикуется, а толки идут, якобы все уничтожено и мрак носится над бездною. Право не знаешь, чему верить! Ведь все вести, толки распускаются нашими же русскими! Варшавского поляка я видом не видал от несчастного бунта. Ради Бога, России, наук и дружбы собери, что можно о новом состоянии Царства Польского и вышли мне, как возможно скорее» [13, т. III, с. 22–23]. И в конце концов прибегает к последнему аргументу, изымая деятельность своего друга из современной политики и включая ее в большое историческое время: «Через 50, а много 100 лет, *мы* прочтем (т. е. человечество прочтет) много такого, что теперь неизвестно. Подвизайся, друже, на поприще блага, да укрепит тебя Провидение! Тебе не нужно сказывать, что и поляки – люди и что земля и человечество существовали прежде отечества и политики» [13, т. III, с. 22–23] – пишет он 21 марта 1836 г. Даже во второй половине 1840-х гг., когда

обстановка в Польше вновь накалилась, и озлобленный Булгарин в отчаянии восклицал: «Если б тебя не было в Варшаве, то забыл бы, что Польша существует. Она только терзает душу мою, огорчая нашего доброго государя и отравляя счастье несчастных и безвинных» [13, т. III, с. 46], он тем не менее с горечью писал своему другу: «...нельзя... составить счастья края, не любя его. Это аксиома. А много ли насчитаешь у вас русских высших чиновников, которые бы любили край, вверенный их попечению, и имели понятие о том, что есть *человечество*, что есть *высшее назначение человека* и, наконец, что такое само *добро*! Ой, казаче, казаче, – ты все еще юн! Перестань думать о невозможном» [13, т. III, с. 38–39]. (Символично, что последнее сохранившееся письмо Булгарина к Стороженко посвящено защите невинно осужденного виленскими властями врача Гросса: «Простираю руки к берегам Вислы и вопию со слезами: милосердия, милосердия и справедливости, справедливости!» [13, т. III, с. 56–57]).

4

Немаловажным и характерным моментом, сближающим жизненные стратегии Стороженко и Булгарина, является потребность в субъектном обосновании заданных извне идеологических конвенций. Стороженко занимается историческими разысканиями об украинской старине, о казаках. Собственная идеологическая позиция должна получить научную, историко-культурную легитимацию, доказав единый религиозно-конфессиональный, культурный корень малороссиян с великороссами, общность исторических судеб, единство государственных интересов. Именно этому до своего неожиданного назначения в Варшаву он и собирался посвятить всю свою деятельность, позднее на его научно-публицистические штудии, скорее всего, возлагалась задача превратить службу по жандармерии в служение национальным идеалам, государственным интересам.

Историческими разысканиями занят и Булгарин, собственно его путь столичного литератора начался с обращения к польской истории и польской культуре. В 1830-е гг. его интересует история

славян – как поляков, так и русских, включенных в некую историко-культурную целостность – «семью». Он пытается обосновать свою теорию происхождения славянских племен, их изначального православия. Дружеская переписка Стороженко и Булгарина обращена к идеям панславизма и ее представителям⁵ (с некоторыми из которых участники переписки знакомы лично), друзья заинтересовано обсуждают появляющиеся источники и новые публикации. Особое место в эпистолярии занимает подготовка к печати болгаринского труда «Россия в историческом, статистическом и литературном отношениях: Ручная книга для русских всех сословий», где его теория должна была обрести стройную научно-популярную форму, транслируемую всему народу, населяющему Российскую империю: книга вышла в 1837 г. с посвящением: «Великой семье русской, детям одного общего отца, царя русского, православного, посвящает труд свой Фаддей Булгарин» [3]. Таким образом Булгарин обретал в империи родину не как иноплеменник и иноверец, но как вернувшийся в лоно единой славянской семьи, принадлежащий ей исторически, как и все поляки. Таким путем он преодолевал трагические узлы и противоречия собственной идентичности и исторической судьбы своего народа.

На свой труд Булгарин возлагал большие надежды, о чем свидетельствует и переписка. Однако ожидаемого им резонанса издание «России...» не получило, хотя заслужило сочувственные отклики ученых, в том числе авторитетного слависта П.-Й. Шафарика, который писал, что Булгарин исполнил священный долг славянина и историка, рассмотрев историю древнейших славян как органическое целое: «...никто из прочих русских историков, не исключая и красноречивого Карамзина, не понял в такой степени этой неопровержимой истины и не высказал ее с такою откровенностью и настойчивостью» [цит. по: 11, с. 110]. Не оценили его труда и в Польше. Ирония истории заключалась еще и в том, что благодаря одиозной репутации Булгарина уже после его смерти возник слух, приписывающий авторство «России...» болгаринскому сотруднику, молодому ученому-статистику Н. А. Иванову. Несмотря на то, что в давнем аргументированном исследовании

Е. А. Боброва этот миф был убедительно опровергнут, до сих пор все справочные издания и каталоги крупнейших библиотек автором «России...» считают Иванова⁶.

Выявленные нами стратегии Стороженко и Булгарина, для которых характерен индивидуально-личностный способ обоснования собственной идентичности для включения в национально-культурное целое, не имели успеха, не получив поддержки социума. Оба в финале жизни испытывают горькое чувство ненужности и неоцененности. На этом фоне симптоматична замена в эпистолярной и в самой жизни большого дома-отчества малым семейным домом-усадебой. Булгарин создает его «с чистого листа», рационально по-хозяйски обустривая в чужой, но культурно близкой ему Лифляндии. Стороженко возвращается в свое имение на родной Полтавщине, однако и там найти себя на общественном поприще ему не удалось из-за неладов с местными жителями: «следствием этого было его собственное охлаждение к Малороссии и стремление быть как можно реже среди своих земляков» [8, с. 446]. Единственным утешением для того и другого станет в конце жизни крут семьи. Конфликт дома-отчества и семейного гнезда был разрешен иначе, чем это виделось Стороженко и Булгарину.

В 1850-е гг., по всей видимости, прекратится их дружеская переписка, последнее сохранившееся булгаринское письмо датировано февралем 1849 г. 12 мая 1853 г. Стороженко пишет сыну: «Фад<дей> Венед<иктович>, кажется, разлюбил меня. В Петербурге не был у меня ни разу» [13, т. II, с. 315], однако 12 марта 1856 г. (за два года до смерти) он передает через Владимира Булгарину поклон [13, т. II, с. 367]. К этому времени в переписке членов семьи Стороженко исчезают упоминания о Булгарине. Оба один за другим уйдут из жизни в конце этого десятилетия: Стороженко – в 1858 г., Булгарин – в 1859-м.

Небесполезно взглянуть на культурный контекст этих лет. В январе 1859 г. вышел роман «Дворянское гнездо», в названии которого получил символическое завершение найденный И. С. Тургеневым еще в первом его романе «Рудин» образ дома-гнезда, в котором был точно схвачен глубинный смысл современного на-

ционального бытия. Трагический потенциал концепта «гнездо» виделся Тургеневу в конфликте тех последних искомым ценностей, которые для одних (Рудин, Лиза Калитина) представляли приобщением к высшему смыслу, делая человека его проводником, пусть и обрекая на скитальчество или монастырь, а для большинства других означали обретение своего дома, родственного тепла и уюта – семейного гнезда⁷. Несовместимость этих двух составляющих, двух способов личностной реализации знаменовали собой тревожный раскол национального бытия, грозящий будущими конфликтами. Эту конфликтность стратегий частного человека первой половины XIX в., стремящегося к личному счастью и служению общему благу, в полной мере отражает на наш взгляд, переписка двух подданных Российской империи: малороссиянина Стороженко и поляка Булгарина.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ **Ушаков Николай Иванович** (1802–1861) – генерал-лейтенант (1853); участник Русско-персидской, Русско-турецких войн, подавления польского восстания 1830–1831 гг. и Крымской войны; с июня 1831 г. адъютант фельдмаршала графа Паскевича, после назначения в 1832 г. Паскевича наместником Царства Польского – начальник его канцелярии в Варшаве. Женат на дочери А. Я. Стороженко Елизавете; оставил «Воспоминание об Андрее Яковлевиче Стороженке» [15]; то же: [13, т. II, с. 1–9].

² См. об этом работы А. И. Рейтблата [10], белорусского исследователя А. И. Федуты [16], польского историка П. Глушковского [6].

³ Булгарин приводит в несколько измененном виде старопольскую поговорку: *Większy Pan Bóg niż pan Rymsza* (Господь Бог больше пана Рымши), которую обыгрывает и А. Мицкевич в поэме «Пан Тадеуш», З. Глогер в «Старопольской энциклопедии» дает комментарий: «Пословица возникла в связи с процессом, который долго вел новгородский квартирмейстер Игнаций Рымша с доминиканцами монастыря в Полаване (Вилкомирский повет), процесс закончился победой доминиканцев» [https://pl.wikisource.org/wiki/Encyklopedia_staropolska/Rymsza]. Сердечно благодарю за справку о поговорке О. В. Гусеву.

⁴ **Фернандо Альварес де Толедо, герцог Альба** (1507–1582) – испанский государственный деятель и военачальник в войсках императора Карла V, наместник Нидерландов при Филиппе II; в историю вошел как

Великий герцог Альба и Железный герцог; прославился жестокостью при подавлении Нидерландской революции.

⁵ Так, в переписке не раз идет речь о трудах польского историка и юриста, сторонника идеи всеславянского единения Вацлава Мацеёвского (1792–1883), с которым в Варшаве общался Стороженко.

⁶ Об истории создания и восприятия булгаринской «России» см. подробнее [1, с. 306–313; 12].

⁷ В романе «Рудин» главный герой в качестве своего кредо приводит скандинавскую легенду: «Царь сидит с своими воинами в темном и длинном сарае, вокруг огня. Дело происходит ночью, зимой. Вдруг небольшая птичка влетает в раскрытые двери и вылетает в другие. Царь замечает, что эта птичка, как человек в мире: прилетела из темноты и улетела в темноту, и не долго побыла в тепле и свете... „Царь, – возражает самый старший из воинов, – птичка и во тьме не пропадет и гнездо свое сыщет...“ Точно, наша жизнь быстра и ничтожна; но все великое совершается через людей. Сознание быть орудием тех высших сил должно заменить человеку все другие радости: в самой смерти найдет он свою жизнь, свое гнездо...» [14, с. 230]. Глубокий анализ метафорического мотива «дома/гнезда» в символическом подтексте тургеневского романа предложен В. М. Марковичем [9, с. 124–128].

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Акимова Н. Н.* Литератор Фаддей Булгарин: творчество, репутация, культурный миф. СПб. : Дмитрий Буланин, 2022. 560 с.

2. *Бобров Е. А.* Генезис одной книги («Россия» Ф. В. Булгарина и сотрудничество в ней Н. А. Иванова) // Бобров Е. Литература и просвещение в России XIX века. Казань : Типолитограф. Императорского университета, 1902. Т. 2. С. 46–85.

3. [Булгарин Ф. В.] Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях. Ручная книга для всех сословий Фаддея Булгарина. [В 6 ч.] СПб. : В тип. А. Плюшара, 1837.

4. Б. п. [Булгарин Ф. В.] Страдания матери. Быль // Северная пчела. 1846. № 59–62.

5. Видок Фиглярин: Письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III отделение / публ., сост., предисл. и коммент. А. И. Рейтблата. М. : Новое литературное обозрение, 1998. 704 с.

6. *Глушковский П. Ф.* В. Булгарин в русско-польских отношениях первой половины XIX века: эволюция идентичности и политических воззрений. СПб. : Алетей, 2013. 232 с.

7. *Греч Н. И.* Записки о моей жизни. М. ; Л. : Academia, 1930. 897 с. (Памятники литературного быта).

8. *Крокос В.* Стороженко Андрей Яковлевич // Русский биографический словарь А. А. Половцова: в 25 т. СПб. : тип. Тов-ва «Общественная польза», 1909. Т. 19: Смеловский – Суворина. С. 445–447.

9. *Маркович В. М.* И. С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века (30–50-е годы). Л.: Изд-во ЛГУ, 1982. 212 с.

10. *Рейтблат А. И.* Ф. В. Булгарин и его читатели // Чтение в до-революционной России : сб. науч. трудов. М. : РГБ, 1992. С. 55–66.

11. *Савельев Н. В.* История северо-восточной Европы и мнимого переселения народов // Маяк современного просвещения и образованности. 1841. Ч. 21. Гл. IV. С. 108–187.

12. *Салупере М.* Ф. В. Булгарин как историк (К вопросу об авторстве «России») // Новое литературное обозрение. 1999. № 40. С. 142–155.

13. Стороженки: Семейный архив: в 7 т. Киев : [тип. Г. Л. Фронцкевича], 1902–1910.

14. *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: в 30 т. / АН СССР. ИРЛИ (Пушкинский Дом). Изд. 2-е, испр. и доп. Т. 5. М. : Наука, 1980.

15. *Ушаков Н. И.* Воспоминание об Андрее Яковлевиче Стороженке // Русский архив. 1873. № 9. Стб. 1722–1735.

16. *Фядута А. И.* Перамога і параза здравага сэнсу, або вяртанне Булгарына // Булгарын Ф. Выбранае / Укладанне, прадмова і каментар А. Фядуты. Мінск : Беларускае кнігазбор, 2003. С. 5–42.

17. *Царынный Андрий* [Стороженко А. Я.] Мысли малороссиянина по прочтении повестей пасичника Рудого Панька, изданных им в книжке под заглавием „Вечера на хуторе близ Диканьки“, и рецензий на оныя // Сын Отечества и Северный архив. 1832. № 1. С. 41–49; № 2. С. 101–115; № 3. С. 159–164; № 4. С. 223–242; № 5. С. 288–312.